

DOI: 10.31862/2500-2988-2023-14-1-125-141

С.А. Чернышов

Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
634050 г. Томск, Российская Федерация

Политические коммуникации и историческая политика в домодерных сообществах

В статье ставится вопрос о существовании исторической политики как части технологизированных политических коммуникаций в домодерновом обществе в условиях отсутствия институционально оформленной публичной политической сферы. В качестве альтернативы институциональному подходу (согласно которому историческая политика теоретически возможна только при существовании институтов публичной политики) предлагается понимать политическую сферу как пространство коммуникативного обмена, а коммуникации – как имманентное свойство социально-политической жизни человеческих коллективов. На примерах из летописных текстов о происхождении московских царей, дипломатической переписки о присоединении Сибири, актов Опричнины показано, как коллективная историческая память может конструироваться в отсутствии институтов публичной политики. Делается вывод, что публичные политические институты современного государства являются не условием существования исторической политики, а основанием для ее стабильной трансляции.

Ключевые слова: политические технологии, историческая политика, коммуникативистика, Московское царство, присоединение Сибири, Иван Грозный

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 19-39-60002\19.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Чернышов С.А. Политические коммуникации и историческая политика в доmodernых сообществах // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2023. Т. 14. № 1. С. 125–141. DOI: 10.31862/2500-2988-2023-14-1-125-141

DOI: 10.31862/2500-2988-2023-14-1-125-141

S.A. Chernyshov

National Research Tomsk State University,
Tomsk, 634050, Russian Federation

Political communications and historical politics in premodern communities

The article raises the question of the existence of historical politics as part of technologized political communications in premodern society in the absence of an institutionalized public political sphere. As an alternative to the institutional approach (according to which historical politics is theoretically possible only if public policy institutions exist), it is proposed to understand the political sphere as a space for communicative exchange, and communications as an immanent property of the socio-political life of human groups. Using examples from chronicle texts about the origin of Moscow tsars, diplomatic correspondence about the annexation of Siberia, acts of the Oprichnina, it is shown how collective historical memory can be constructed in the absence of public policy institutions. It is concluded that the public political institutions of the modern state are not a condition for the existence of historical politics, but the basis for its stable transmission.

Key words: political technologies, historical politics, communication studies, Muscovy, annexation of Siberia, Ivan the Terrible

Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research, project number 19-39-60002\19.

FOR CITATION: Chernyshov S.A. Political communications and historical politics in premodern communities. *Locus: People, Society, Culture, Meanings*. 2023. Vol. 14. No. 1. Pp. 125–141. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2023-14-1-125-141

Историческая политика в системе общественных коммуникаций

Социальные коммуникации, в т.ч. и институционально оформленные, всегда осуществляются в определенном историко-культурном контексте. Этот контекст, как правило, интерпретирует прошлое социальных коммуникаций и социальных институтов, объясняет настоящее, и подчас претендует на предсказательный эффект, т.е. утверждает определенность будущего. Особенностью этой контекстуальной рамки жизнедеятельности социальных институций любого размера (от семьи до государства) является, кроме прочего, ее динамичность. М. Хальбвакс сравнивает это поле с кладбищем, «где пространство ограничено и все время приходится искать место для новых могил» [32, р. 9].

Материал для контекстуальной интерпретации прошлого – это набор «исторических случайностей, которые теоретически образуют неограниченное количество вариаций» [37]. Конструируемая таким образом коллективная память – это всегда социально детерминированный консенсус по поводу значения прошлого для данного конкретного коллектива [36, р. 185], причем тот же М. Хальбвакс полагает, что даже индивидуальная память отдельной личности обусловлена установившимся социальным контекстом [33, с. 30]. Конструкции коллективной памяти в известном смысле всегда искусственны, и в целом она представляет собой систему представлений о прошлом и настоящем, имеет цель, инструментарий и находится в постоянной динамической трансформации [2, с. 27–28].

Искусственный характер конструкций коллективной памяти предполагает наличие субъекта конструирования, цели которого, как правило, далеки от просветительских: «они стремятся легитимизировать собственную власть, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, укрепить солидарность группы, продемонстрировать несостоятельность оппонентов, приобрести материальные и организационные ресурсы и прочее» [21, с. 33]. Наконец, эти конструкции всегда идеологизированы и имеют определенные ценностно-мировоззренческие установки субъектов продвигаемого нарратива [38, р. 202]. Такое целенаправленное влияние на коллективную историческую память мы определяем как историческую политику.

На каком этапе социально-политического развития того или иного сообщества участники политических коммуникаций начинают (или имеют хотя бы возможность) субъектно и целенаправленно влиять на коллективную историческую память, полагая это важным аспектом текущих политических процессов?¹

Традиционный ответ на этот вопрос звучит так: историческая политика начинает существовать одновременно с публичной политикой. Как принято считать, вначале человеческие коллективы конструируют этническую устную память, затем постепенно она вытесняется письменной памятью (начиная приблизительно с XVI в. по отношению к странам Западной Европы), и, наконец, современные институты коммуникаций формируют условия для конструирования коллективной исторической памяти [17, с. 82].

По Ю. Хабермасу, возникновение публичной сферы напрямую связано с развитием системы публичных коммуникаций: книг, газет, журналов и пр. [29, с. 11]. Плотная система публичных коммуникаций, в свою очередь, создает условия для свободной конкуренции политических акторов, партий, точек зрения [23, с. 9]. Наконец, свободная конкуренция в политических коммуникациях тесно связана с идеей субъектности человека: по выражению М. Хайдеггера, «человек превращается в субъект, а мир – в объект» [31, с. 150]. Все это в целом и формирует коммуникативные основания государства Нового времени, или «государства модерна», «модерного государства», где ключевым элементом является наличие сферы публичной политики. Следовательно, в рамках такой парадигмы и только начиная с этого периода появляется практическая возможность существования исторической политики.

Социально-политические коммуникации: от институционального к коммуникативному подходу

Еще одно ограничение, которым традиционно обуславливается невозможность существования исторической политики в домодерновых сообществах – синкретичность и статичность средневекового мировоззрения. Если человек (в т.ч. представитель элит) – не субъект, мировоззренчески выделенный из мира, то невозможно и субъектное влияние. В понимаемом таким образом социальном сообществе предопределено не только настоящее (через корпоративность), но и будущее: прежде всего, оно уже закодировано в древних текстах, т.е. никак не детерминировано

¹ В этом смысле такое влияние становится технологичным, т.е. начинает обладать неким потенциально повторяемым и масштабируемым алгоритмом влияния. В таком виде историческая политика становится частью политических технологий в целом.

действиями акторов настоящего [34, с. 291]. Будущее, таким образом, невозможно создать (субъектный подход), его можно только разгадать, причем не через накопление знаний, а через «углубление» и толкование уже имеющихся текстов [20, с. 33].

В таком подходе вывод о невозможности существования исторической политики в домодерновом обществе выглядит логически безупречным. «Была ли публика в Средние века? Нет» [27, с. 14], – заключал в своей классической работе Г. Тард еще в конце XIX в. А если и существуют те или иные субъектные действия (например, акты государя), то они, по Хабермасу, персонализированы, а не институционализированы [29, с. 55]. Такой подход применим как к Западной Европе, так и к Московскому царству, где, кроме прочего, долгое время отсутствовала ценность «спекулятивного», «оторванного от реальности» знания [12, с. 236].

В отличие от средневекового, модерное сознание рационально и целесообразно, что предполагает свободный осознанный выбор, «укрощение спонтанных порывов индивида, подчинение его поведения соображениям рациональности и целесообразности» [11, с. 118]. Новое время, таким образом, рождает противоречия, которые априори отсутствуют в синкретическом средневековом мышлении [25, с. 91].

Вместе с тем, описываемый таким образом переход от синкретичного к рациональному мышлению, понимаемый как прогрессивный, содержит некоторую логическую уловку, поскольку при таком переходе никуда не исчезает универсализм. Мы не избавляемся от универсализма в понимании людей вообще, но заменяем один универсализм другим. Ж. Бодрийяр формулирует это так: «по сравнению с дикарями, которые называли “людьми” только членов своего племени, наше определение “человеческого” значительно шире, теперь это понятие универсальное. Сегодня люди – это все люди» [4, с. 231]. Не является ли это все тем же синкретизмом, только сконструированным на «рациональных» принципах?

Ключ к ответу на поставленный вопрос, как представляется, следует искать не в институциональном, а в коммуникативном подходе к пониманию социально-политических процессов. Невозможно выстраивать доказательства отсутствия исторической политики в домодерновом обществе через отсутствие в нем тех или иных современных институтов². Методологически верным путем является поиск универсальной, вневременной характеристики человеческих сообществ, – и такой характеристикой, очевидно, являются социальные коммуникации.

² Книги, журналы, публичная политика, телеграф – это, несомненно, институциональные, а не коммуникативные основания нарождающегося «Нового времени».

В основе коммуникаций лежат имманентные (относительно сроков жизни политий) свойства человеческого сознания, которое априори субъективно. «Человеческий ум есть ничто иное, как последовательность восприятий», а «сознание – это непрерывная смена восприятий» [26, с. 19], – постулируется в теории человеческого сознания. «Восприятия» – это, по существу, репрезентация чувственного мира. Никакой реальной связи между этими «восприятиями» не существует на уровне структуры самого мозга, всякий раз эта связь конструируется, исходя из тех или иных обстоятельств. М. Кастельс, формулируя свою теорию коммуникаций (уже постмодернистскую), называет эти «восприятия» «метафорами», которые, в свою очередь, формируют «фреймы» – «нейронные сети ассоциаций, которые могут стать доступными с помощью языка путем соединения с метафорами» [13, с. 168]. То есть первоначальное конструирование тех или иных «восприятий» – процесс даже не социальный, а нейробиологический.

Фактически о том же пишет и классик коммуникативистики Ю.М. Лотман, определяющий любую интерпретацию прошлого и настоящего как «модель, порождаемую участниками акта коммуникаций» [19, с. 32]. Эта трансформация «реальности» происходит через систему коммуникаций, которая при наличии хотя бы двух индивидов определяется как «язык» [20, с. 15]. Иными словами, уже на этапе возникновения простых социальных коммуникаций неизбежно происходит субъектно ориентированное искажение «реальности». В свою очередь, сама суть политики уже в интерпретации Аристотеля – это субъектно ориентированные социальные коммуникации: «всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага»³. «Ради какого-то блага» – это констатация необходимости субъектной позиции в любых социальных коммуникациях.

Если субъектно ориентированные коммуникации являются имманентным свойством человеческого сознания и политических систем, то «Новое время» не расширяет мировоззрение индивидов, а видоизменяет его. На смену внутренне противоречивой, подчас парадоксальной и замкнутой на себе связке «трансцендентного» и «сознательного» («личностного»), свойственной Средневековью, приходит модерное «рациональное», которое выделяет человеческий организм как самостоятельное понятие («человек как субъект») и утверждает сознаваемый мир в качестве единственной реальности [26, с. 246]. Человека сначала «отрывают» от трансцендентного, а затем в оставшейся части воспринимаемого мира провозглашают субъектную свободу – «нравственную автономию и самоосуществление» [30, с. 93].

³ Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М., 1983. С. 281.

Меняет ли такая корректировка мироощущения человека возможности его социальных коммуникаций? Нет, принципиальных изменений не происходит. Человек как жил в «социальной реальности», которую П. Бурдьё определяет как «множество невидимых связей, которые формируют пространство позиций, внешних по отношению друг к другу» [5, с. 68], так и продолжает в нем жить. То же «социальное пространство» Т. Парсонс определяет как пространство «абстрагирования значений от отдельных частных ситуаций» [24, с. 13], т.е. пространство рефлексии. Важно, что для Парсонса нет никакой разницы, какую цивилизацию или эпоху описывать в рамках этого парадигмального подхода: через эту призму он описывает и императорский Китай, и средневековую католическую инквизицию или современную публичную политику.

Таким образом, для социально-политических коммуникаций первичны не институты, а абстрагированная от индивидов система связей. Собственно, институты – одна из условностей (по Кастельсу – «фреймов», по Лотману – «моделей», по Парсонсу – «абстрагированных значений»), которая принята в том или ином пространстве социальных коммуникаций. В этом пространстве у политики есть вполне определенная роль: «производства и внушения смыслов» [5, с. 24] (Бурдьё), «искажения реальных политических связей» [35, р. 7–8] (М. Edelman), право влиять на сложившуюся в обществе «систему отношений» [13, с. 31] (Кастельс). Первичной характеристикой политической власти как производной социальных коммуникаций точно также являются не институты, а система отношений. Институты (книги, выборные кампании и т.д.) не предопределяют существование, а увеличивают связанность социального пространства. Наконец, сам институт государства – это названный монополист на таком «реляционном» пространстве, стремящийся к узурпации права на *world making* – «конструирование мира» [5, с. 83]. Для автора этого термина Бурдьё совершаемое таким образом «символическое насилие» не требует существования каких-либо специфических институтов, в его парадигме для этого достаточно социального пространства, «авторитета» и некоторой связи с реальностью (нельзя создавать смыслы «с нуля», необходимо интерпретировать действительно происходящие события) [Там же].

В домодерновом государстве мы видим правительственные учреждения, устроенные именно по «реляционному», а не институциональному принципу. Скажем, Боярская дума времен начала правления Ивана IV – это совершенно определено не институт (у думы отсутствовала своя канцелярия, постоянный штат служащих, архив решенных дел и пр.), но система взаимоотношений. «Пределы компетенции думцев, ведавших приказами, не были регламентированы... – пишет в своем клас-

сическом труде «Опричнина» С. Веселовский. – Да и не требовалось никакой регламентации, поскольку они ежедневно виделись с царем и получали от него указания» [8, с. 126].

С точки зрения классика «легального государства» М. Вебера, этот пример – антипод политики, существующей в силу регламентов и правил. Он определяет три возможности жизнедеятельности политической власти вне институтов: это «традиционное господство», существующее в силу господских прав, «сословное господство», где должности даются в лен, и «харизматическое господство», где власть принадлежит харизматикам [7, с. 405]. В сущности, и то, и другое, и третье – это некая система социальных связей, существующих посредством постоянной коммуникации между ее участниками, напрямую зависящей от результатов таких коммуникаций.

Следует оговориться, что субъектно ориентированные политические действия, существующие в домодерных сообществах, неизбежно обладают рядом важных свойств. Во-первых, они не затрагивают все сообщество или его значительную часть. Даже если представить, что без институтов публичных коммуникаций можно донести какое-то сообщение каждому члену сообщества, то оно было бы существенно искажено при передаче, т.е. не достигло бы поставленной цели. Во-вторых, ограниченный характер таких коммуникаций не отменяет возможности теоретического существования в таких сообществах очаговых политических технологий и исторической политики, поскольку сама суть субъектно ориентированных социальных коммуникаций, искажающих реальность, есть имманентное свойство «человека социального». Другой вопрос – являются ли такие действия технологичными (т.е., прежде всего, деперсонализированными).

Кейсы исторической политики вне политических институтов

Рассмотрим в рамках описанной концептуальной парадигмы отдельные коммуникативные кейсы, реализованные в Русском государстве XV–XVII вв. (т.е. в переходный период от «Средневековья» к «модерну»). Этот период особенно важен для рассматриваемой нами темы, поскольку на протяжении названных веков конструируется ряд политических идей, которые затем лягут в основу отечественного национального мифа.

Очевидно, что институционально оформленной публичной политики в Русском государстве этого периода не существует, поэтому отдельные эпизоды политических действий, по существу, имеющие признаки технологизации, традиционно интерпретируются в этот период как

«обсуждение», «борьба идеологий» и т.п. В парадигме коммуникативного подхода такого рода действия можно рассматривать как эпизоды субъектного конструирования смыслов, интерпретирующих прошлое в связке с настоящим в ограниченном социальном пространстве. Дискурсивная интерпретация прошлого здесь происходит через «движение от одной ассоциации к другой, осуществляемое систематически», что приводит «к разделяемому всеми участниками определению общего мира» [16, с. 340]. В сущности, это и есть историческая политика публичного пространства.

Однако если историческая политика есть одно из проявлений политических технологий в целом, то акты, интерпретируемые в таком ключе, должны иметь свойства технологичности (деперсонализации и потенциальной воспроизводимости), субъектности, наличия целей и некоего социального пространства, в котором все это осуществляется. Для чистоты мысленного эксперимента сделаем допущение, что для акторов XV–XVII вв. в Русском государстве политическая сфера вообще никак не институционализована, а существует только некое социальное пространство, где субъекты коммуникаций системно добиваются собственных целей.

Даже при таких условиях у акторов исторической политики остается довольно внушительный список потенциально возможных инструментов: памятники, музеи и мемориальные комплексы, государственные праздники, публичные ритуалы, топонимия пространства, произведения литературы и искусства, знаки, символы и пр. [22, с. 29]. Мы же сегодня можем отследить эти действия, прежде всего, через сохранившиеся тексты – летописей, дипломатических актов и пр.

Летописец – самый очевидный претендент на роль актора конструирования социального прошлого и настоящего того или иного сообщества. В домодерных обществах миф «фиксирует табуированные ситуации» и «поддерживает изначальный социальный порядок» [1, с. 43], а потому летописец – моралист, который, по выражению Ключевского, «видит в жизни человеческой борьбу двух начал, добра и зла, Провидения и дьявола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который Провидение воспитывает» [14, с. 83].

Мораль такого рода, без сомнения, синкретична, но даже в этих рамках возможно конструирование прошлого. Известный пример – реконструкция родословной московских князей. Этот сложный и растянутый во времени коммуникативный акт начинается в XV в., и достигает своей завершенной формы к началу XVII в. В XV в. в Москве рождается «легенда о “дарах императора Константина”», якобы отправленных в Киев великому князю Владимиру как знак признания его власти,

в т.ч. некую «сердоликовую коробку», связанную императором Августом, которая даже отдельно упоминается в завещании Ивана Калиты [6, с. 135]. В XV в. московский правитель во внешних сношениях начинает именоваться «василевсом» («императором»): такой термин по отношению к Ивану III встречается в обращении русского посла к императору Андронику Палеологу, в текстах Константина Ласкаря (после 1472 г.), в других дипломатических актах [3, с. 94]. Такая «вольность» на самом деле демонстрирует пример «выхода» за пределы традиционно понимаемого синкретического мировоззрения, поскольку одностороннее посягательство на титулатуру – это посягательство на мировые устои.

Понимаемый как «василевс» Иван III естественно получает право на «собрание земель русских» (хотя бы по «статусу»), что мы и видим в «Степенной книге царского родословия» [15, с. 9]. А при Иване IV повторяется тезис о легитимности московского царя через «дары Константина», например, в обращении к Антонио Поссевино [6, с. 142]. К началу царствования первых Романовых эта концепция принимает законченный вид: «с древних лет... на великих и преславных государствах Российского царствия были великие государи прародители наши от рода Августа кесаря, обладающего всею вселенною» (из грамоты царя Михаила Федоровича французскому королю Людовику XIII, май 1615 г.) [9, с. 211].

Хотя и не все правители приняли эту концепцию (скажем, Речь Посполитая в Ям-Запольском мирном договоре 1582 г. все равно настаивает на упоминании русского государя как «великого князя» [28, с. 96]), очевидно, что через несколько ассоциативных интерпретаций эта реконструкция политической преемственности становится фактором легитимации московских правителей, т.е. напрямую влияет на диспозицию социальных коммуникаций внутри и за пределами государства. Важно, что эта конструкция, хотя и интерпретирует действия реальных исторических персонажей, является от начала до конца умозрительной, субъектно сконструированной под конкретную задачу.

Аналогично конструируется легитимация присоединения Западной Сибири к Русскому государству в конце XVI – начале XVII вв. Отталкиваясь от нескольких, по всей вероятности, малозначительных для современников фактов в прошлом (поход на Югру в 1499 г. и посольство Едигера в Москву в 1555 г.), московские дипломаты постепенно разворачивают внутренне стройный исторический нарратив об «исконности» власти Москвы над Сибирью. Так, уже осенью 1585 г. в инструкции русским послам в Швецию упоминалось следующее: «имь в розговорах про Сибирь говорити, <...> последней Сибирской Кучюмь царь

посаженик был на Сибири изъ рукъ государя нашего <...> Ивана Васильевича всеа Руси и повороваль, и не почаль был государевы дани платити <...> и государь нашъ <...> позволиль на Сибирь ийти казакомъ, и казаки государевы <...> Сибирское царство взяли <...> и ныне Сибирское царство в государевой воле»⁴. Взятие Сибири трактуется не как акт государственной агрессии, а как восстановление исторической справедливости. К 1610-м гг. этот нарратив подходит к своей завершенности: Сибирское ханство становится уже не взбунтовавшейся против метрополии окраиной, которую привели к послушанию, а исконно благополучной территорией Московского государства. «Сибирское государство искони вечно послушно Московскому государству и ныне под высокою рукою государя нашего ц. и в.к. Михаила Федоровича <...> А от Московского государства Сибирское государство никогда в непослушанье не было»⁵, – говорилось в инструкции послам Желябужскому и Матчину в Польшу 1614–1615 гг.

Еще один пример, уже более сложный по своей структуре и внутренней логике, мы наблюдаем в отношении обоснования претензий Москвы на обладание Казанью. «Казанская история» – это прекрасное проявление конструирования исторического нарратива, который имеет в своей основе внутренние логические противоречия, т.е. не является «синкретичным» ни в какой трактовке. «Змеиная» Казань по всем канонам должна быть «чужой», а ее завоевание – архетипические покорение «потустороннего». Но в реальности мы видим совершенно иную интерпретирующую конструкцию: «Руси Московская, которая, осмысляя себя единственным православным царством во вселенной, трактует все ценности как содержащиеся внутри собственных границ или исконно “своему” миру принадлежащие. Змеиное царство, имея все признаки чужого мира, оказывается частью исконно русского мира» [10, с. 178]. Иван Грозный, конструирующий нарратив своего происхождения от Августа (о чем сказано выше), совершенно логично исходит из этого нарратива и претендует как «универсалистский» государь на чужие царства. «Казанская история» – это пример того, как в XVI в. появляется переработка используемого материала под некоторую неочевидную идейную или стилистическую рамку [18, с. 9], в отличие от текстов предыдущего периода, отличающихся морализаторством.

⁴ Сборник Императорского русского исторического общества. В 148 т. Т. 129: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными: Памятники дипломатических сношений Московского государства со Шведским государством: Ч. 1: 1556–1586 гг. СПб., 1910. С. 414.

⁵ Там же. Т. 142: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. М., 1913. С. 526.

Наконец, рассмотрим пример «символического насилия», в котором текстуальное оформление сочетается с конкретными действиями: это отъезд царя Ивана IV в Александровскую слободу во время Опричнины. Детали этого эпизода вполне известны: в конце 1564 г. царь уезжает в Александровскую слободу, откуда в январе 1565 г. начинает писать послания и вести, по выражению С. Веселовского, «агитацию» [8, с. 122], в которой объясняет свой отъезд «изменами», которые больше невозможно терпеть. Такой характер носит грамота царя, отправленная митрополиту: «царь и государь и великий князь от великие жалости сердца, не хотя многих изменных дел терпети, оставил свое государьство»⁶. Больше того, царь как будто воспринимает как потенциального субъекта политических действий не только митрополита, но и обобщенно понимаемый «народ». Так, в посланной с опричником К.Д. Поливановым грамоте к гостям, купцам и «всему христианству града Москву», которую царь «велел перед гостьми и перед всеми людьми прочести», говорится «чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет»⁷. Традиционно это интерпретируется так: «такая постановка вопроса заключала в себе недвусмысленную угрозу поднять и развязать в случае надобности стихию народного восстания против высших классов общества» [Там же]. И после этого «народ» якобы приходит к митрополиту, чтобы тот упрашивал царя возвращаться и править государством.

Однако это противоречит исходным характеристикам рассматриваемого периода, поскольку в условиях отсутствия публичной политики никакого обобщенного «народа» не существует, а также отсутствуют институты, через которые этот «народ» может повлиять на ситуацию. Однако царь в своих коммуникациях и действиях (агитация, публичное чтение грамот, отъезд в Александровскую слободу) обращается к некоему актору, от которого ждет субъектных действий. Это либо «народ», который если и не является субъектом политической жизни, но *воспринимается* или конструируется царем именно в таком качестве (что само по себе довольно революционная идея). Либо это «элиты», к которым вот так витиевато, под видом обращения к «народу» обращается царь в своих грамотах, однако, и элиты в этой диспозиции определенно субъектны.

Таким образом, мы видим, как через коммуникативные акты (очевидно, технологичные и воспроизводимые, не зависящие от конкретной личности) московское правительство второй половины XVI – начала

⁶ Полное собрание русских летописей: в 43 т. Т. 13. Летописный сборник, именуемый патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1904, С. 392.

⁷ Там же.

XVII вв. пытается влиять на международные и внутренние политические процессы, воспринимая объекты своего влияния как акторов, от действий которых зависит восприятие прошлого и настоящего. По сути, московское правительство занимается исторической политикой.

Заключение

Вернемся к исходным тезисам. Историческая политика традиционно понимается как целенаправленное влияние на коллективную историческую память исходя из мировоззренческих установок и конкретных целей отдельных субъектов политических коммуникаций. Считается, что историческая политика появляется только тогда, когда в обществе институционально оформляется публичная политика в целом, в т.ч. через массовые медиа, публичные дискуссии, выборы и т.д. До этого появлению публичной политики якобы мешает мировоззренческий синкретизм, в котором отсутствуют внутренние противоречия, порождающие нужду в конструировании коллективной памяти.

В статье утверждается, что Новое время на смену религиозному синкретизму предлагает синкретизм «гражданский» и «общечеловеческий», чем принципиально не меняет коммуникативную диспозицию в социальном положении человека. В качестве альтернативы институциональному подходу политическая сфера рассматривается как пространство коммуникативного обмена. В статье показано, что коммуникации – это имманентное свойство человеческих коллективов, их социальной и политической жизни. На нескольких примерах летописей, дипломатической переписки и актов Опричнины было продемонстрировано, как коллективная историческая память (родословная московских царей, присоединение Сибири, истоки конфликта царя и элит во время Опричнины) может конструироваться, исходя из субъектных целей в отсутствии институтов публичной политики.

Является ли это исторической политикой? Мы утверждаем, что необходимо ответить на этот вопрос положительно, с оговоркой, что пространство для такой политики было ограниченным. В этом смысле мы не заявляем о факте существования во всем Московском царстве единого «общества», которое безусловно разделяло те или иные нарративы реализуемой правительством исторической политики. Понятно, что реальными адресатами этих коммуникативных актов даже в случае с обращением *urbi et orbi* Ивана IV во время опричнины были несколько сотен, если не десятков действительных акторов политических процессов. Понятно также, что невозможно утверждать, что транслируемые нарративы разделяли в рассматриваемый период, скажем, все жители Ярославля, Новгорода или Сибири.

Политические институты (в т.ч. институты публичной политики), таким образом, не обуславливают существование политических коммуникаций и исторической политики, а являются их усилителями и ретрансляторами, способными без «помех» и стабильно определять коллективную историческую память в больших социально-политических сообществах. Такой подход, как представляется, может существенно расширить представления о действиях политических акторов в домодерновом обществе и позволить применять многофакторный анализ к традиционно упрощенно понимаемым действиям тех или иных политических субъектов.

Библиографический список / References

1. Антипов Г.А., Донских О.А. Миф и мифологическое в современном обществе // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 54. С. 39–50. [Antipov G.A., Donskikh O.A. Myth and the mythological in modern society. *Bulletin of the Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science*. 2020. No. 54. Pp. 39–50. (In Rus.)]
2. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014. [Assman A. *Dlinnaya ten proshlogo. Memorialnaya kultura i istoricheskaya politika* [The long shadow of the past. Memorial culture and historical policy]. Moscow, 2014.]
3. Бибиков М. «Рекс Московии и всея Руси»: взгляд из Константинополя // Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время / Сост. и отв. ред. О.С. Воскобойников, О.И. Тогоева. М., 2021. С. 89–94. [Bibikov M. “Rex of Muscovy and All Russia”: A view from Constantinople. *Anatomiya vlasti: gosudari i poddannyye v Yevrope v Sredniye veka i Novoye vremya*. O.S. Voskoboynikov, O.I. Togoev (eds.). Moscow, 2021. Pp. 89–94. (In Rus.)]
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011. [Baudrillard J. *Simvolicheskiy obmen i smert* [Symbolic exchange and death]. Moscow, 2011.]
5. Бурдьё П. Социология социального пространства. М.; СПб., 2005. [Bourdieu P. *Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva* [Sociology of social space]. Moscow; St. Petersburg, 2005.]
6. Бычкова М.Е. Регалии власти московских государей и формирование идеи государственной власти // Судьба двух империй. Российская и Австро-Венгерская монархии от расцвета до крушения. М., 2006. С. 128–148. [Bychkova M.E. *Regalia of power of the Moscow sovereigns and the formation of the idea of state power. Sudba dvukh imperiy. Rossiyskaya i Avstro-Vengerskaya monarkhii ot rastsveta do krusheniya*. Moscow, 2006. Pp. 128–148. (In Rus.)]
7. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. IV. Господство. М., 2019. [Weber M. *Khozyaystvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchey sotsiologii* [Economy and society: Essays on understanding sociology]. In 4 vols. Vol. IV. Dominance. Moscow, 2019.]

8. Веселовский С. Опричнина. М., 2022. [Veselovsky S. Oprichnina. Moscow, 2022.]
9. Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Арктики французами в XVI веке. М., 2017. [Viane B. Puteshestviye Zhana Sovazha v Moskoviyu v 1586 godu. Otkrytiye Arktiki frantsuzami v XVI veke [Journey of Jean Sauvage to Muscovy in 1586. Discovery of the Arctic by the French in the 16th century]. Moscow, 2017.]
10. Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007. [Virolainen M.N. Istoricheskiye metamorfozy russkoy slovesnosti [Historical metamorphoses of Russian literature]. St. Petersburg, 2007.]
11. Кагарлицкий Ю. Fortitudo схоласта и fortitudo гуманиста: опыт изучения изменений конструктивной роли понятия // Понятия, идеи, конструкции: очерки сравнительной исторической семантики / Под ред. Ю. Кагарлицкого, Д. Калугина, В. Маслова. М., 2019. С. 118–159. [Kagarlitsky Yu. Fortitudo of a scholastic and fortitudo of a humanist: An experience of studying changes in the constructive role of a concept. *Ponyatiya, idei, konstruktсии: ocherki sravnitel'noy istoricheskoy semantiki*. Yu. Kagarlitsky, D. Kalugin, V. Maslov (eds.). Moscow, 2019. Pp. 118–159. (In Rus.)]
12. Калугин Д. Воспитание Проста: трансфер западноевропейского философского языка и практики «заботы о себе» в России второй половины 18 века // Понятия, идеи, конструкции: очерки сравнительной исторической семантики / Под ред. Ю. Кагарлицкого, Д. Калугина, В. Маслова. М., 2019. С. 225–293. [Kalugin D. Education of the Prost: The transfer of the Western European philosophical language and the practice of “self-care” in Russia in the second half of the 18th century. *Ponyatiya, idei, konstruktсии: ocherki sravnitel'noy istoricheskoy semantiki*. Yu. Kagarlitsky, D. Kalugin, V. Maslov (eds.). Moscow, 2019. Pp. 225–293. (In Rus.)]
13. Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2016. [Castells M. *Vlast kommunikatsii* [The power of communication]. Moscow, 2016.]
14. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М., 1993. [Klyuchevsky V.O. *Polnyy kurs lektсий v trekh knigakh* [Russian history. A complete course of lectures in three book]. Book 1. Moscow, 1993.]
15. Кром М.М. Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М., 2018. [Krom M.M. *Rozhdeniye gosudarstva: Moskovskaya Rus XV–XVI vekov* [The Birth of the State: Moscow Rus XV–XVI centuries]. Moscow, 2018.]
16. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. [Latour B. *Peresborka sotsial'nogo: vvedeniye v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: An introduction to Actor-Network Theory]. Moscow, 2014.]
17. Ле Гофф Ж. История и память. М., 2013. [Le Goff J. *Istoriya i pamyat* [History and memory]. Moscow, 2013.]
18. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 2006. [Likhachev D.S. *Chelovek v literature Drevney Rusi* [Man in the literature of Ancient Russia]. Moscow, 2006.]
19. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. [Lotman Yu.M. *Kultura i vzryv* [Culture and explosion]. Moscow, 1992.]

20. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. [Lotman Yu.M. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [The structure of the artistic text]. Moscow, 1970.]
21. Малинова О.Ю. Политика память как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: Сб. научных трудов / Отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. М.; СПб., 2018. С. 27–55. [Malinova O.Yu. The politics of memory as an area of symbolic politics *Metodologicheskiye voprosy izucheniya politiki pamyati*. A.I. Miller, D.V. Efremenko (eds.). Moscow, St. Petersburg, 2018. Pp. 27–53. (In Rus.)]
22. Малинова О.Ю., Миллер А.И. Введение. Символическая политика и политика памяти // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: Сб. ст. / Под ред. В.В. Лапина, А.И. Миллера. СПб., 2021. С. 7–37. [Malinova O.Yu., Miller A.I. Introduction. Symbolic politics and politics of memory. *Simvolicheskiye aspekty politiki pamyati v sovremennoy Rossii i Vostochnoy Yevrope*. V.V. Lapin, A.I. Miller (eds.). St. Petersburg, 2021. Pp. 7–37. (In Rus.)]
23. Миллер А. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в. // Историческая политика в XXI веке: Сб. ст. М., 2012. С. 7–32. [Miller A. Historical politics in Eastern Europe at the beginning of the XXI century. *Istoricheskaya politika v XXI veke*. Moscow, 2012. Pp. 7–32. (In Rus.)]
24. Парсонс Т. Социальная система. М., 2018. [Parsons T. *Sotsialnaya sistema* [Social system]. Moscow, 2018.]
25. Пигалев А.И. Репрезентация после модерна: от «другого начала» Хайдеггера к «Посланию» Деррида // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 58. С. 85–96. [Pigalev A.I. Representation after modernity: From Heidegger's "other beginning" to Derrida's "Message". *Tomsk State University Bulletin. Philosophy. Sociology. Political Science*. 2020. No. 58. Pp. 85–96. (In Rus.)]
26. Рябушкина Т.М. Структуроопределяющие основания сознания. М., 2020. [Ryabushkina T.M. *Strukturoopredelyayushchiye osnovaniya soznaniya*. Moscow, 2020.]
27. Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 2021. [Tarde G. *Obshchestvennoye mneniye i tolpa* [Public opinion and the crowd]. Moscow, 2021.]
28. Филюшкин А.И. Титул московских государей и проблемы культурно-цивилизационного выбора стран Восточной Европы в период средневековья // Средневековая Европа. История и историография: Сб. научных тр. Вып. 1. Воронеж, 1997. С. 90–100. [Filyushkin A.I. The title of the Moscow sovereigns and the problems of cultural and civilizational choice of the countries of Eastern Europe during the Middle Ages. *Srednevekovaya Yevropa. Istoriya i istoriografiya*. Vol. 1. Voronezh, 1997. Pp. 90–100. (In Rus.)]
29. Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории буржуазного общества. М., 2012. [Habermas Yu. *Strukturnoye izmeneniye publichnoy sfery: issledovaniya otnositelno kategorii burzhuaznogo obshchestva* [Structural change in the public sphere: Research on the category of bourgeois society]. Moscow, 2012.]
30. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. [Habermas Yu. *Filosofskiy diskurs o moderne* [Philosophical discourse on modernity]. Moscow, 2003.]

31. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. [Heidegger M. *Raboty i razmyshleniya raznykh let* [Works and reflections of different years]. Moscow, 1993.]
32. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27. [Halbvaks M. Collective and historical memory. *Neprikosvennyu zapas*. 2005. No. 2–3 (40–41). Pp. 8–27. (In Rus.)]
33. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. [Halbvaks M. *Sotsialnyye ramki pamyati* [Social frame work of memory]. Moscow, 2007.]
34. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Политическое конструирование образа будущего // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 56. С. 285–299. [Shcherbinin A.I., Shcherbinina N.G. Political construction of the image of the future. *Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science*. 2020. No. 56. Pp. 285–299. (In Rus.)]
35. Edelman M. Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. Chicago, 1971.
36. Kansteiner W. Finding meaning in memory: A methodological critique of collective memory studies. *History and Theory*. 2002. Vol. 41. No. 2. Pp. 179–197.
37. Levi-Strauss C. *Mythologiques I. Le cru et le cuit*. Paris, 1964. Pp. 22–38.
38. Topolski J. The role of logic and aesthetic in construction narrative wholes in historiography. *History ang Theory*. 1999. Vol. 38. No. 2. Pp. 198–210.

Статья поступила в редакцию 27.07.2022, принята к публикации 23.08.2022
The article was received on 27.07.2022, accepted for publication 23.08.2022

Сведения об авторе / About the author

Чернышов Сергей Андреевич – кандидат исторических наук; старший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических и политических наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет

Sergey A. Chernyshov – PhD in History; Senior Researcher at the Laboratory of Social Anthropological Research of the Faculty of Historical and Political Sciences, National Research Tomsk State University, Russian Federation

E-mail: 1502911@mail.ru